

ЧУЖОЕ СТОЛЕТИЕ



Дмитрий Бураго

Новый Орфей

Urbi

*Литературный альманах
издаваемый
Владимиром Садовским
под редакцией
Кирилла Кобринина и Алексея Пурина*

выпуск сороковой

□

серия

Новый Орфей

(9)

Прага • Санкт-Петербург

Дмитрий Бураго

ЧУЖОЕ СТОЛЕТИЕ
(книга стихов)

Санкт-Петербург, 2003

Б 91

Дмитрий Бураго. Чужое столетие (*Книга стихов*). – Urbi: Литературный альманах. Выпуск сороковой. Серия «Новый Орфей» (9). – СПб.: Изд-во «А. В. К.», 2003. – 64 с.

ISBN 5-88801-252-4

ББК 84.Р7

Почтовые адреса редакции:

Россия, 190005, СПб., а / я 69,
E-mail: kobrins@volny.cz.

Корректор *Ф. Н. Аврунина*.

Компьютерная верстка и обложка *Андрея Бураго*.

На первой полосе обложки использована
репродукция картины Рене Магритта
«Голос пространства».

Издательство «А. В. К.».

196066, Санкт-Петербург, Типанова, 4.
Издательская лицензия ЛП № 000003 от 27 июля 1998 г.

Подписано в печать 05.05.2003. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 4. Тираж 600. Заказ № 39.

Типография АОТ «ВНИИГ» им. Б. Е. Веденеева.
195220, Санкт-Петербург, Гжатская, 21.

© **Дмитрий Бураго, 2003**

Марине Бураго

ЧЕРНОВИК

ДАР

Улыбнись: мол, напрасный труд,
да не стоит отнюдь труда,
это просто блажь.
Это птицы с утра орут.
Не пиши, мой друг, никогда:
это не продашь,

не согреешь души своей,
разменять не сумеешь на
благосклонность дам.
Так рассеянно кофе пей,
вспоминай, что тоска смешна,
слушай птичий гам.

Солнце вытопило смолу
из раскрывшихся пор перил,
но от вяза тень
подползла, наконец, к столу.
... То, что ночью наговорил,
и припомнить лень...

Вот такая, мой друг, беда:
день к полудню сгорел почти.
Скушай пару слив,
не спеша вороши счета,
или Чехова перечти,
наугад открыв.

Ночью душ приняла земля,
но последний обрывок туч
обратился в пар.
Манит приторный сок шмеля,
луч дневного светила жгуч.
Так случаен дар.....
.....

* * *

М. Б.

Взъерошен вихор. – Обманщик, позёр,
скажи о бровях вразлёт! –
– Прости, отвлекли этюды Дали
и вялой пчелы полёт.

А галки кричат и кормят галчат;
к нам листья с дубов из тьмы
столетья плывут. Мне вспомнились тут
в реке Иордан сомы.

Развейся пока, спугни мотылька:
не двадцать стучат веков, –
плацкартный вагон, там кто-то влюблён
и, скажем, спешит в Ростов.

А дочки сопят. А гроздья опят
на каждом из пней в саду.
(И Экклезиаст ответа не даст,
о чём я тут речь веду.)

Терпеть не могу валяться в стогу:
за шкировкой щекочет сор.
Уже к сорока. Улыбка легка.
– Простак, но ведь как хитёр!..

ШКОЛЬНОМУ ДРУГУ, ИЗ СИЭТЛА В ЕГИПЕТ

И здесь штормит, и саднит сильней
из рёбер тесная клеть.
Хромает размер – ни ямба, ни хорей,
и сердце не хочет петь.

Живи как во сне. Скользи по волне,
Пусть ветер тебе поёт.
Наверно, ты прав – не вино и не
(тем паче уж) страсть, – полёт

пьянит, помогая на миг забыть,
что ничего не успеть.
Пусть прялка жужжит и сучится нить,
сплетаясь в итоге в сеть.

О возрасте шепчут – не сын-балбес,
не стёршийся хрящ в бедре, –
а просто больше не ждёшь чудес.
... Но вечером в декабре

в Египте бриз так бесстыже свеж,
и дёгтем пропах причал.
Открой же вино и мясца нарежь.
Какая, к чертям, печаль?!

* * *

О Боже, как жирны и синеглазы
стрекозы смерти...

О. Мандельштам

Так страшен летний день: парящий в окнах тюль,
беззвучный шмель застыл над мёртвым водоёмом.
Ни атомной войны в предчувствии невесомом,
ни козней и интриг. Кончается июль.

Слагающий слова безумен и хитёр,
пускается в бега: влюблённость и бунтарство;
и сосны на песке, коверкая пространство,
вплетают речь дрозда в ненужный разговор.

Случайная бутылка какого-то Chateau
напомнит вкус опят и мокрые шезлонги, –
приморье в октябре... запястья слишком тонки... –
Как сродственны душа и это решето

фасетчатых ячеек под радужной плевой,
вместившее лицо, проём окна и небо,
не мыслящее, но, всевидяще иль слепо,
страшащееся стать природой неживой.

ТРИ СТРОКИ О ЛЮБВИ

М. Б.

Я нисколько не лгал, о любви написать обещаю.
В коридорах шотландского замка что хочешь шепчи.
В полутьме катакомб не пугает эпоха чужая:
этот век пострашней, хоть и лучше зубные врачи.

Не сонеты к Мари – гобелены и куклы из воска.
(Из разрубленной шеи торчала ль, раздувшись, гортань?)
Гарнитур из дворца, – (то есть дюжина стульев), –
неброско,
но добротнo весьма, и со вкусом. – Не то, перестань!

Я хотел о любви (эдинбургские улицы сонны,
и, увы, здесь *кровавая* вряд ли приснится луна):
«О, влюблённости дрожь! – вероломство, Верона, вороны
вьются в воздухе вешнем, вода торфяная темна».

Закопчённый собор иль депо за Варшавским вокзалом?
Я пишу о любви: «и как вязы весною больны,
и как щербень щербат, и о снеге тяжелом и талом...»
Сохранилась плита да шершавый обломок стены.

Что такое душа, постигаешь случайно: в Нью-Йорке,
захлебнувшись в людской миллионной вонючей волне, –
оскользнувшись на дынной обсиженной осами корке.
(Эти осы *жирны* – наконец понимаешь вполне.)

И бейрутский старик, из-под потного лба не мигая
заглянувший в зрачки, – всё из памяти это сотру,
предвкушеньем опять опьянясь: «Танцовщица нагая,
помоги позабыть про чуму на раёшном пиру!»

ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙ

Д. В.

Одно колотье в пояснице,
а мудрости нет ни гроша.
Навряд ли когда-нибудь в Ницце
поверишь, что жизнь хороша.

Поставив голландского пива
вполне запотевший бокал,
рискнёшь ли признаться правдиво,
что только кривлялся и лгал.

Влюбись в первокурсницу, что ли,
купи сигарет и портвейн!
Беги от постылой неволи.
Но только не думай про Рейн:

планета кругла и поката.
Ты можешь в таёжном лесу
стереть отворотом бушлата
набухшую счастья слезу.

И Днепр при ясной погоде
так чуден, я слышал, не зря.
Ты сытый (и вымытый, вроде),
и мимо, огнями соря,

пролязгает «Жёлтой стрелой»
трамвай, заблудившись, в туман,
и чёрным крестом над тобою
строительный сгорбится кран.

Что слаще чужой и похмельной,
промозглой и серой зари,
размытых трущоб у Удельной
и утренней дрожи внутри?

PARIS

Будто целая жизнь за плечами
и всего полчаса впереди.

И. Бродский

Что запомнишь, впотьмах прометавшись зазря,
словно *чуя размах*, ненавидя пустые минуты?
А фальшивым *Seurat* жёлтой Сеной с утра
на мольберты набрызгано смуты.

И расскажешь кому ты – как тревожно мокра
чёрных лип голубая кора, на жаровнях каштаны раздуты?
То ли Крыма ветра, то ль в знакомый колодец двора
от ростральных влечёт мишура Европейской Калькутты?

До каких мне дотронуться рук, чтоб душа замерла?!...

...С тополей мошкара мне другое напомнила лето.
Скоро ль выйдет ресурс износившейся плоти? – и я,
потеряв и тебя, позабуду и это.

О, позволено было б за тою чертой бытия,
ни о чём не скорбя, в зябкой дымке чужого рассвета,
только жадными лёгкими ветер вдыхая опять,
над беспмятной жёлтой рекой полчаса постоять!..

OLYMPIC PENINSULA

Разбитое стекло и галечные пляжи.
Пустынный океан суров и отчуждён.
Холодная вода (куда не вступишь дважды)
особенно темна в осенний несезон.

И ощутишь, взглянув на клочья серой пены,
потерянный на миг среди звёздной мишуры:
стремленья так темны, и столь недостоверны
рождённые умом понятия и миры.

...Ты спустишься к воде и расшнуровешь блузку.
Горячая ладонь тонка и солонa.
И с мокрого песка твой отпечаток узкий
утащит за собой проворная волна.

СОН

Незначай я коснулся шершавой ограды моста,
и кольнуло в груди, и приснилось, что это со мною:
и тревожный вселенский провал за твоею спиною,
и сквозь чёрные листья погасшая светит звезда.

Иль грядущий исход – не такая большая беда? –
лишь страшусь, что ответы навеки останутся тайной:
от кромешных основ до мелькнувшей улыбки случайной, –
хоть, пожалуй что, эта загадка до боли проста.

Мне пригрезилась жизнь, рваных туч кутерьма над водой
жёлтой вздутой реки, и на цыпочки вставшие кони,
та ложбинка на жаркой ладони и привкус солёный,
и пахучие кроны, пронзённые мёртвой звездой.

СЛУШАЯ ЛЕКЦИЮ МАШЕВСКОГО О ПУШКИНЕ

Играй, Адель,
не знай печали...

А. Пушкин

...не согласишься: ей было не больше двенадцати,
и в припухлых губах никакая свирель не играла.
Сальных глаз обезьяньих никак не хотел отвести
беспокойный наглец, не устроив едва скандала.

И кому сочинял он «на ты», а кому – «на Вы»,
никудашный пророк тополиных проказ Борея
наших судеб? (Что жимолость? Отчим. И вот, увы, –
никому не нужна. Монастырь. Коченей, старая.)

Кем ещё вдохновлялся тот бешеный, с кем блудил,
в тесноте простыней ли возились они, потели? –
что поделать, Адель. В небесах – хоровод светил,
на земле же курчавый гений сопит в постели.

ОТТЕПЕЛЬ

...Что же вымолвить... Не грусти?
– Что поделать, грущу слегка.
Зябнут пальцы в твоей горсти.
– Мёрзнут руки? От сквозняка:

не проклеены рамы тут,
и надбито одно стекло.
– Слышишь, дворники снег скребут:
видно, тоже всю ночь мело.

Серый саван к лицу земле
новостроек, и третий Рим
лишь таким бы писал Милле.
Только оттепель смывает грим

с безобразных примет.
– Скажи,
что нам толку в весенней лжи?
– Тонут в лужицах этажи,
оживлённо кружат стрижи?

...И придет твоя жена,
ну и что же ты скажешь ей?
Это тоже обнажена
неприглядная суть вещей.

Ночь беспамятна и нежна,
днём на сердце – такая муть...
– Хорошо бы нам всё же на
ну хотя б полчаса уснуть.

...Плохо убранная постель,
и на блюде засох лимон.
Что поделать. «Играй, Адель».
Тот, кто понят, тот и прощён.

МОРАЛЬ (*сонет, сочинённый в изрядном подпитии на дне рождения А. Пурина в баре «Аквариум», Разъезжая, 7*)

Ночной рестораник – аквариум, где
есть то, что для радости нужно,
зелёная рыбка мерцает в воде,
касается спинкой жемчужной
стекла, и любуется втайне собой,
и правит свое отраженье
в стекле, – ей так нравится дым голубой
над ней, колебанья, движенья
воды, что качает её, унося,
а впрочем – не двигая с места,
лиловую, плавную, легкую... Вся
она – вроде воздуха, жеста
бесшумного, вроде одной из теней
подземно-подводных – сквозная...
Снаружи стою... и продолжить о ней
хочу... Только как – я не знаю...

В. Ковалёв

Лишь есть... Ни выпить, ни поговорить.
В аквариуме только плавниками
без толку шевелишь. А может быть, –
твой вольный брат сейчас резвится в Каме!

По берегам, топча щавель и снить,
шныряют браконьеры с острогами.
Взрывчаткой глушат, черпают сачками, –
и к носу дьявольскую свешивают нить.

Но ты представь: наш дерзкий визави,
весь трепеща, блеснув по быстротоку,
уж под корягой – мечет он молоку!

Морали хотите в конце сонета вы?
Дрочить у зеркала – никчёмный труд, ей-богу.
В обличье рыбьем же – так полное «увы».

ПУРИНУ, ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, НОЯБРЬ 2001

Спой нам, Дима, на свирели
Пенсильвански птичы трели...

А. Пурин

В Пенсильвании осень. А птицы примолкли что-то, –
может, ворон кружит? Но отнюдь не с недавних пор
(не поверишь?) – тревожней от стрёкота самолёта.
Впрочем, нынче бы в кучи багряный сгрести убор,

разобраться с отчётом за год, купить билеты.
К трелям глух, неуживчив, безграмотен, близорук, –
даже как-то не думал, что вспомнишь там обо мне ты.
Но зане и спасибо вдвойне за стишки, мой друг.

Голубок-то ленив, но уж точно слова крылаты
в наш стремительный век. Как погода? И не шутя
над собой небесам из зонта не чинишь преграды? –
раз не выдавить слёз, чтоб хоть капли слизнуть дождя

с онемевших от пьянства губ? Извини длинноты,
но раз печень сдаёт, то уж лучше бы анашу
ты покуривал... Жизнь напрасна? – в постель давно ты
заманить не мечтал студентку?... Но я пишу

про билеты: купил, и в начале зимы заеду.
Чтобы вечер убить, верно, сходим в кабак? Коньяк
отхлебну, кривясь, и, чихая в дыму, беседу
не смогу поддержать... Ничего? Посидим и так...

СТАНСЫ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ

И не думай даже про саксофон:
вон сосед купил револьвер.
Не в мозгу ли Эоловой арфы звон?
(Аль виски ты не вдоволь тёр,

ввысь вперяясь зря и эмаль скребя
мирозданья, что лёд реки,
в ту же тьму увлекающей вдаль тебя
всем прозрениям вопреки.)

Тыча ногтем в ночь, не брюзжи на мрак:
праздник слуха – орут коты!
А сосед женат, тупо пьёт, дурак,
иль нанюхался наркоты.

А в твоей душе спит сокровище,
и совиная даль видна, –
и такую дурь шепчет кровь ещё,
и искрится бокал вина.

А ни ста друзей, так и нет беды,
чтоб просить сейчас по рублю.
...Я не встретил Вас, Вы как в небе дым, –
дайте, что ли, Вас
полюблю.

ЛЕТНИЙ САД

Что в себе найду? Разгляжу ль в пруду
рябь и ряску, иль тень свою?
Зачерпну ль ненароком в ладонь звезду
иль русалочью чешую?

Рассыпался мир на мильоны брызг:
мелкий дождь теребил листву.
И сбьлись мечты. Жизнь разбилась вдрызг.
Наяву ли я жил?.. живу?

Из какого сна я попал сюда?
Вроде, жрец познания? И вот
я дрожу. Но за ворот течёт вода,
а не ужаса липкий пот.

Но, прости, нелепо лепить слова:
жалок лепет больной души.
Антураж – Летний сад, три моста, Нева.
Никогда, мой друг, не пиши!

Улыбнись. Развейся на пять минут.
Каблучками по мостовой,
ох, какая блондинка звенит! И тут –
хочешь – смейся, а лучше – вой!

РОЖДЕСТВО 2001

Ах, да! – подарки к Рождеству.
Спешу скупать галантерею.
(В бюджете брешь переживу,
хоть от бессмыслицы дурею.)

А нынче даже не виню
обычай скверный, и не скрою:
тебе на Пятой авеню
не ожерелье дорогое, –

купил я дамский револьвер, –
вот очень славная вещица,
и пригодится, например,
когда захочешь застрелиться.

А что лететь за океан –
возросшей бдительности слуги
глупы и часто близоруки:
легко пускайся на обман.

Ах, каблучок – он так хорош,
чтоб в сердце мне вонзаться мило,
но в нём не спрячешь даже нож,
а разве спицу или шило.

Ах, ножки! (Боже упаси,
я – заикнуться и не смею.)
...но вспомнил в этой вот связи
одну нескромную камю... –

А, кстати, да! (так весь прогресс,
поверь, творение Эроса):
ты револьвер на грудь повесь.
Темнить – никчёмная забота,

ты ж нацепи его, как брошь:
«Причуда моды, зажигалка».
Да ты любого проведёшь,
мне даже их немножко жалко,

и жаль себя, и жаль, увы,
мне с револьвером расставаться.
Такие странности любви,
что в сорок лет, что в восемнадцать.

STRASBOURG

М. Щ.

Какая, Господи, мура:
скворец орать охрип с утра,
тяжёлый дождь в окно колотит,
и снится вдруг, что я из плоти,
и отвратительны до дрожи
прожилки вен на тусклой коже.

И длится день в кошмаре странном:
двор с раскоряченным платаном,
и городок на грязном Илле,
витрины и автомобили,
в углу у век – комочек слизи.
И не промолвишь: «Take it easy».

Мой друг таинственный и близкий,
мне гадок выговор английский:
и так-то речь из бельм и пятен,
и диалог наш непонятен –
меж мёртвых звёзд, где мрак и скука.
И я лишь щурюсь близоруко...

ЧЕРНОВИК

М. Б.

О, всмятку бы разбить какой-нибудь Porsche,
и лютиков нарвать в крапивнике кювета,
чтоб пели соловьи в расхристанной душе
ту песню, что тобой когда-то мне напета.

Но лютики узнать среди флоры полевой
сумею ли? – (стыжусь, Набоков, перед Вами) —
и слухом обделён, и лишь органнй вой
порой пугает плоть протяжными басами, –

а музыка молчит. А ты упрямо ждёшь,
когда ж начнется жизнь: те дни, которых ради
ангина, маета, больших предчувствий дрожь,
и пыльный школьный двор, и тридцать в Ленинграде,

и шесть на воле лет. Глазей, не так велик
твой бедный шар. Ну что ж, на площади в Брюсселе
цеди себе вино, коль жизни черновик
неплохо удался. Мы вроде всё успели.

Ударить кулаком в стекло что было сил!
Как ночь к тебе нежна, ненастная, глухая, –
о, как бы удержать тот миг, в котором жил
и улыбался, тёмный дождь вдыхая.

НОСТАЛЪГИИ

СТАНСЫ ОДИНОЧЕСТВА

Пятнадцать лет в Китае островном.
Скрип мельницы упрёкам не перечит.
Гортань саднит от азиатской речи.
Ладони пахнут соей и вином.

Из крепости бежав, не отличишь,
ногой озябшею нащупав берег низкий,
расплывчатой громады Сан-Франциско
от севастопольских в промозглой дымке крыш.

(Проездом в Вену, может быть, Мадрид.
Парад зимой. Задержка так некстати.)
Пятнадцать лет в замызганном халате, –
туман с утра, и на море штормит.

Тот воронёнок, умерший, небось,
в горячечном и длинном детстве дачном,
стал прилетать сюда, и мы судачим, –
но никогда – о том, что не сбылось.

Пятнадцать лет я не влюблён, и явь,
пугавшая, как атлас медицинский,
уж не страшней, чем «Осень» (Баратынский),
иные страхи просто растеряв.

СТИХИ ДЛЯ ИЛЛЬ

I

О Илль, головастик, кузнечик, – постой!
Встряхни вороной непослушную чёлкой.
...Как пахнет травой, незнакомой и колкой...
Как холодно ждать во вселенной пустой...

Как в детстве, на счастье, поди прокрадись
по сеточке трещин на мёртвом бетоне.
К лицу поднеси изумлённо ладони:
озноб, будто смотришься в звёздную высь.

Пусть Сана твоя доживёт до седин.
Лишь отблеск дробится во влаге солёной.
О ящерка! – юркни обратно в камин,
спаси – подари уголёк раскалённый:

в огромной вселенной ни крошки тепла.
Любая надежда страшна. И нелепа.
...Зачем-то припомнишь, как рвала игла
Размокший картон ленинградского неба.

На кухне галдёж, и посуда – горой.
Подросших детей отчуждённые лица.
Уже никогда ничего не случится.
Как холодно ждать во вселенной пустой.

II

Мне жаль, что ты не жила. Больней,
пожалуй, что умерла.
Я ж невлюблённым тысячи дней
прожил, мертвей, чем зола.

И вот любителя русых кос
копна вороных волос
пленила, и сердце идет вразнос, –
а встретиться не пришлось....

Но ты в минувшем, что сон, что явь –
попробуй-ка различи:
Одна труха. Да карман дыряв,
потеряны все ключи.

Так лучше даже. И нет вранья
меж нами, ни дрызг, ни вех;
тебе восемнадцать навек, а я
всё больше таращусь вверх.

«А туча в небе – как будто пёс
галактики гложет ось,
а ветер запах реки донёс,
и слышится стук колёс».

Вздохни поглубже и улыбнись.
Не видно уже ни зги.
Раздвинь орешник и вниз спустись
к воде, где дрожат мостки.

СТАНСЫ СМЕРТИ

Не потел со смешливой рабыней в удушье перин,
и об оспинах камня не помнят подушечки пальцев,
и в миланской таверне ничтожнейший из постояльцев
мне судьбы не сказал, жёлтым глазом стрельнув до руин.

Как строка на экране, толчками торопится пульс.
Скоро в мареве пыльной листвы этот город утонет, –
этот запах забыть в *пробуждении между ладоней*, –
вот, пожалуй, последняя мысль, которой страшусь.

Невзначай ты припомнишь тот век, и, под шорох колёс, –
как, сутулясь, цеплялся за вспугнутый ряд многоточий...
Цепенел от прозрений, но встречу в пустыне пророчил.
...От дворцовой ограды, сквозь поросль клейких берёз,

по щербатым ступеням, до матовой кожи – не смог
дотянуться; и, брякнув, брелочек с ключами от «форда»
вдруг случайно напомнил в углу на сиденье потёртом
в томик Бродского вложенный с парюю формул листок.

И, с раскосой рабыней пробравшись сквозь вымокший
на блестящий асфальт, где в слезах отражается Невский,
задохнувшись на миг, вдруг увидел, насколько по-детски
этот взгляд осторожный растерян, пытлив и колюч.

СЫН

... кому душистое с корицею вино...

О. Мандельштам

Я не плакал в Багдаде, не спился без толку в Чите.
Не орёт саранча, и не пеплом с предгорьев подуло,
но глядеться в безмолвье страшной, чем в бездонное дуло.
Ты помедли со мной, погрузим о тепле и тщете.
Я не вижу лица, лишь мерещатся острые скулы.

Не случившийся сын, я напрасно придумал тебя:
обделён я надеждой хоть в чём-нибудь вновь возродиться.
Меж огромных шаров не найдёшь ни звезды, ни станицы,
где, глотая вино и неряшливо череп скребя,
я желанья терял, коченел и пытался забыться.

От успехов познания ползёт холодок по спине.
Средь миллиардов других лишь страшнее за бедное тело.
...Вроде дело к весне, а на склонах трава пожелтела,
и губастая рыба с моими чертами в окне
ухмыляется мне, повторяясь на кафеле белом.

Улыбнись: не угар, а гвоздика, лаванда и мёд.
Три колючих звезды в слюдяные таращатся стёкла.
«Не печалься, мой друг неразлучный!» – перрон отойдёт;
в три зигзага фонарь, мёртвый шмель и на поручне лед.
Дачный поезд всё тот же, лишь краска на лицах поблёлка.

* * *

На краешке дивана, перестав
дышать на миг, промолвишь это слово,
и, теребя бессмысленно рукав,
вдруг удивишься привкусу чужого

во рту твоём немого языка.
Как мало в речи нашей расстоянье
от «Вас любил» до, скажем, «расставанье», —
то долгота и жизни, и кивка.

За школьной партой, робость поборов,
зальёшься краской в гибельном смущенье.
(Как сладок страх твоих незрелых снов!)
А после жизнь промчится за мгновенье.

Всё это было – пригород, пустырь,
слепой луны бессмысленная ясность,
твоей судьбы обыденность и частность,
конец столетия, больной и страшный мир...

НОЧЬ С КЛЕОПАТРОЙ

...и падаешь в пропасть, едва приоткроешь
блаженные шоры. Прозренья жестоки.
Земные приметы: замёрзшие ноги.
О, как же пронзительно чувство дороги!
В итоге – словесный гербарий всего лишь.

Согреет ли чашка остывшего чая
у тусклого солнца в невечной вселенной?
– Я маюсь, души в тебе, нежной, не чая!
...Всего перемочь этот дар драгоценный,
как ночь с Клеопатрой, страхась и сучая.

Камин не унимет мучительной дрожи.
И полость тепла не хранит меховая.
И ноготь, обломанный ноготь, о Боже!
Пусть снег оседает на щёки, не тая, –
и слёзы до губ не докатятся тоже.

Чужое столетье глядит безучастно,
не нас призовёт, покарает не нас, но
нам снятся его непонятные саги...
О, нет же?! Мы тоже – веселые маги? –
чьи жизни бездонны и боль не напрасна?..

ВЕНСКИЕ СТИХИ

I

Туристской Вены вычурный узор
фальшивой готики – напрасный пир для зренья:
я прежде мог, не вороша поленья,
глядеть часами в меркнувший костёр.

К предместьям чуть – трамвай подслеповат,
фасады те ж, и лепка вдоль карниза:
семнадцать шиллингов, и не возиться с визой...
(И даже стёкла так же дребезжат.)

Ты ж невзначай пройди от Моховой
квартала два и выйди на Литейный,
и погрузи в зашарпанной кофейне, –
...и мне того достаточно с лихвой.

Мой скорый ужин – Brie и Beaujolais,
мой кров случайный – «Кайзер Франц Иосиф».
О чём ещё, куда ещё забросив,
судьба потом *позволит* сожалеть?

II

В каждом городе будет река
и каналы в гранитной одежде,
тот оранжевый с белым фасад
и нелепый балкончик кургузый.
Я домыслю уродливых львов
и к решётке нашлёпки с медузой,
или мой разорившийся мир
(и тебя, но такую, как прежде).

Мой не жаден натруженный взгляд:
контур елей иль готика башен,
мишура и лукавство витрин
или уголь по вспухшей фанере, –
я запомнил карниз, голубей,
и старух, сокрушавшихся в сквере.
И чужого столетья рассвет
простодушно и буднично страшен.

ЧУЖИЕ СЛОВА

К. И.

Солнце осеннее тонет в песочных часах.
Утренней дрожи никак не уняться в руках.
В ухе комар и гудение пульса в висках –
Моцарт и Бах.

А голова подозрительно что-то легка.
Крик паровоза доносится издалека.
Время течёт из склонившейся чаши цветка
струйкой песка.

Спать бы под ржавой корою, вселенной забыт,
слушая шёпот вершин или топот копыт.
Клавишу кто-то нажмёт или проговорит,
скажем: «delete»?

Муха с весны поселилась в набухшем глазу.
Кто-то поёт или плачет по пьяни внизу.
Кажется, вряд ли всё это я перенесу,
и в бирюзу

вдруг окунётся душа. Но, небрит и брюзглив,
ну и кому ты, смущаясь, промолвишь: «forgive»?
Лучше уж в кресле нехитрый мурлыкай мотив,
веки прикрыв.

ТЕНЬ

Мне не снится уже давно
серебро берёз над водой,
как проколотое звездой:
там горит за рекой окно.

Я боюсь, и слившись в одно,
два дыхания темнотой
не согреют ночи пустой,
не унимут души озноб.

Недоступней для жадных глаз,
чем сверчка в тёмных кронах трель,
набегает вот так подчас
эта тень, и слетает хмель.

Контур елей и звёзд метель.
И никто не запомнит нас.

ГЛАДИАТОРЫ

А нам-то давно уж отчаяться время,
но глухо рокочет под панцирем сердце,
и марево в небе безудержно знойно,
и римляне пёстры и неутомимы.
А коль повезёт, так останемся целы,
мечтать, чтоб опять удалось отвертеться,
и что нам до душных интриг и обжорства
напрасной свободы великого Рима.

За годы страстей, несвободы и боли,
мы столько всего повидали, и только
всё так же опять одиноки, когда уж
порой седина проблеснёт на виске.
Коль не повезёт, так прижмёшься губами
к враждебной земле, непонятной и горькой,
у самого глаза травинка качнётся,
случайный кузнечик скакнёт по щеке.

А мутное небо беззвучно и знойно,
и вновь гладиатору будет наградой
иллюзия славы, иллюзия жизни,
в которой и снова – куда же нам деться –
не нам дожидаться в смирении смерти
в тенистой прохладе заветного сада...

А *нам-то* давно уж отчаяться время! –
...но глухо трепещет под панцирем сердце.

* * *

Как нестерпимо жить всерьёз!
И ради истинного жеста
я б отказался от блаженства
постылых радостей и грёз.

Как дней стремителен поток!
За четверть века бутафорства
хоть выменять – на всё притворство –
один бессмертия глоток.

Как бы декабрьский узор,
повиснувший в оконной раме,
прожечь горячими губами... –
и выглянуть в пустынный двор.

Ну что ж, снега, дымит пурга?
Запей печаль остывшим чаем.
Пусть праздник будет нескончаем,
а грусть случайна и легка –

не боль бессмертия глотка.

ST. PETERSBURG

К.

...речного жемчуга, я помню эту нить.
Всего за год (ты улыбнулась даже!)
скопить на Крит: под пальмами на пляже
на десять дней (того ль, что значит жить? –

махнуть рукой, коль кто-то провожал;
пить скверный кофе, маяться с таможенной?) –
И снова ждать, и только невозможней
скупой пейзаж с седьмого этажа.

Роман в полночи. Матовый браслет
иль белый след обвился вокруг запястья.
К нему бы мог ещё на миг припасть я,
иль поглядеть растерянно вослед.

Я ж погрузил, и контуром локтей
сквозь лак стола промялись отпечатки,
и этот лифт, исчирканный и шаткий,
с трудом скрипит под тяжестью моей.

Не так влечёт под блузкой полоса
не хищный взгляд, и зря мозолят шпили
усталый глаз, а вздор, что мы любили, –
не оживишь тот мир за полчаса.

Я ж залетел сюда, как краевед,
луцющий дни и копящий уныло
пустые кожицы, – а сердце засадило,
увы, от возраста, иных резонов нет.

BOEING НАД ЛАДОГОЙ

Возвращение пахнет гнилыми сетями и потом,
или кислую кожей промокшей накидки дорожной,
и поморской обжитой избою: куриным помётом
и приморской сосною, – волнительно и безнадёжно.

Здесь всегда в чёрном небе висит рукотворная птица,
но не снится Нью-Йорк, и не вымолвишь:

«К старости я бы...»

Нестерпимо смотреть, как остывшее солнце дробится,
уползая в осоку по ртутной безжизненной ряби.

THE ART INSTITUTE OF CHICAGO

Угрюмый негр глядит на балерин Дега.
(В чикагских улиц грязные колодцы
чужое озеро плывёт издалека,
в исчирканный кирпич железный ставень трётся.)

Мне узкий лоб его и твой блестящий взгляд
темны и непрозрачны в равной мере.
И ничего слова не говорят,
как эта рябь на скошенной портъере.

* * *

С похмелья впотьмах не нащупать очки,
заколкой опять оцарапана кожа, –
утихли слова, ничего не тревожа,
безгрешные сны твои будут легки.

Зелёного яблока вяжущий вкус,
от жёсткой воды на эмали наплывы.
Ещё невпопад оглянусь суетливо
на тубик Lancôme или ниточку бус.

Так душен взъерошенный мех, и сладка
тревога от женской нечаянной позы!
Так шумно дыхание пёсье, и вроссыпь
бегут водомерки от стоек мостка.

Моих вдохновений лишь пена поверх...
(над страхом кромешным и плотским желаньем).
...Как сладостно душен взъерошенный мех!
И мокрое дерево пахнет изгнаньем.

* * *

Что поделаться, дружок,
только пальцы обжѣг,
серной спичкой ночной небосвод освещать –
ну не глупо ль?

Ну а гаденький чтобы не слышать смешок
из-за ширмы, снотворный глотай порошок.
Говорю, уезжай! Хоть куда. Скажем, – да: в Мариуполь –
(Дни уже, ты гляди ж, покатались на убыль, –
всех делов-то – лишь шмотки засунуть в мешок,
где в кармане шуршат шелуха
и бессмысленный рубль) –

и поплачь ни о ком:
просто солью с песком
по Азову метѣт, альбуцид не спасѣт
(отыскавшийся даже –
в рюкзаке, торфяным провонявшем дымком).
Четверть века назад здесь глазел я тайком
сквозь кусты на бесстыжих девчонок на вымокшем пляже.
Ты езжай! – Ну а я не хотел бы вернуться туда же,
хоть не лучше лежать на диване ничком.
Дни бегут во всю прыть, много ль толку грустить
о пропаже.

Что ж до капель глазных,
нынче худо без них
и в столице, и в Купчино: третью неделю в Шушарах
тлеет торф, – разглядишь из окна лишь родных
пять помойных бачков и на лавке больных
трѣх усатых старух. И невольная о санитарях
мысль приходит на ум. Но зачем – об ожогах, пожарах? –
Здесь вот – дождь прекратился, и ветер утих, –
(здесь почти что курорт, и скучища, как в
Карловых Варах) –

хоть мизинец натёрт,
надо б двинуть на корт,
всё забыть, пропотеть, много ль толку взростеть –
к сорока-то...

Может, тоже в дорогу? Свободен и горд,
я билет бы в Нью-Йорк заказал на «Конкорд»:
«Чуть коснется плеча пусть попутчицы прядь,
и *staccato*

бьётся пульс. Сгоряча... Ничего не понять.

И не надо», –

но парковку с мотелем – за аэропорт,

а на даче сарай – за утраченный рай

принимать – рановато.

Что ж, дружок, не серчай,

пусть цветёт иван-чай

у крыльца твоего, пусть сорит на него

недостриженный тополь.

Что же делать, малыш, ты ж отчаялся, чай?

В телевизор глядишь, пьёшь рассеянно чай,

всё сквозь зубы свистишь... Говорю: уезжай.

Навсегда. Хоть куда. Скажем, – да:

в Мелитополь.

NOSTALGIA

I

Л. И.

Липкий пот отереть. Лишь обломки утраченной речи.
Я запомнил калмыцкие пряди в прожилках седых.
Здесь кончается век. Или – слышишь?! – стрекочет
кузнечик.
Дешевеет бензин. И страшнеют сознания ходы.

Мы – лишь опыт. И в том здесь не многому сыщется
сходство.
Помнишь: тамбур сквозной, и чернеют под снегом поля?
Улыбнётся дитя – и такое нахлынет сиротство!
В пенсильванских предгорьях страшна и уютна земля.

Пара зёрен кофейных и завтрак, сготовленный наспех,
и пакетик фисташек неловко надорван с угла.
Плещет пыльной листвою, и душен асфальтовый запах.
И случайный кузнечик крадётся по краю стола.

II

Очнись, очнись, очнись!
Ведь ни смертей, ни виз,
и твой каприз отнюдь не ряда из:

пусть плещет у ларька
народная река,
не балуя богатством языка.

Но, взгляд подьемля ввысь,
ты только улыбнись
своей судьбы не худшей из реприз.

И выпей коньяка
со всяким, кто пока
всё ж рад, хоть и забыл наверняка.

Попразднуй до зари,
в подъезде покури,
пусть зябнут пальцы, губы и внутри.

Допей остывший чай,
шепни: «Прости-прощай»,
и больше никому не докучай.

Махни теперь в Стамбул,
чтоб бриз зарю раздул
и в сердце лился волн босфорских гул.

АЭРОПОРТ

ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ

Слух обо мне пройдет,
как дождь проходит летний,
как с тополей летит
их безнадёжный пух.

А. Пурин

«Прогресс изряден от двуколки
до современного Renault,
или хотя бы даже «волги» ...» –

Петров опять глядит в окно.

Как колки прошлого осколки!..
Цветной витраж? Светло, темно...
Ручные в детстве выли волки, –
о, как недавно, как давно!

А нынче сам хоть волком вой.
(Мог жребий выпасть и другой, –
над нами свет иль хаос, но
порой и в найденной заколке
таится случай роковой...)

Петров свалился с верхней полки,
когда экспресс гремел над Мгой.

Чуть повредился головой.

И потерял четыре зуба.
Протезы выглядели грубо.

Года летят – хоть пей, хоть ной...
Что стало с нами, со страной!
И наш Петров совсем больной:

он, экономя, пал так низко,
что, прилетев из Сан-Франциско,
решил в *России* починить
неровный прикус: он мениска
уже лишился, во всю прыть
носясь по корту (нечем крыть:
сам виноват), но вот в бюджете
счета врачей пробили брешь;
потом покупка дома, дети, –

(заботы те же? – да не те ж:
дом – в Силиконовой долине,
большой камин посередине
стены в гостиной...) – каждый грош
считай, и то концы едва ли
сведёшь (хотя друзья считали,
что был доход его хорош,
а эмигрантские печали –
ну как их к чорту разберёшь...)

Ах, эта повесть так грустна...
Петров томится у окна..
Как пахнет корюшкой весна!

Весна, весна! Окно открыто...
И яд в крови... Но до поры-то
дурей от брани продавцов,
пусть дождик сыплет, как из сита,
и кормят ласточки птенцов...

О, эта страшная эпоха!

Петров сдержать не может вздоха:
он должен умереть от плохо

стерилизованных щипцов,
занёсших вирус гепатита.
Петров в окно глядит убито,
слегка мозгами нездоров.
Он был на выставке Магритта,
и странный образ трёх шаров
его тревожит, и Петров
готов в тоске стенать и выть:
он умирает. От цирроза.

Но, Боже мой, какая проза!

Хотел с тобой поговорить
я о любви, но мысли нить
запуталась, и вот курьёза
не мог я хуже учинить, –
а уж рассвет взирает косо,
как дрозд орет, и слеп и глух, –
уже давно терзает слух
его несносная сюита,
и солнцем утренним залита
стена в гостиной, и потух
камин,
но сколько в нем золы-то...

И улыбнёшься ль там вдали ты
стихам, случайным, словно пух? –

...летающий с клейких тополей
на *бедной родине моей.*

РЕЧЬ

Н. З-дзе

Сохрани навсегда чуть вульгарную речь с гортанной глухотой, не грузинской, а свойственной азиатам. Разменяешь на запах сырого бетона в ванной коммуналку со старческим приторным ароматом.

Подежуришь на «скорой»; ещё приторгуй духами, защитись к октябрю (ох уж мне эти званья, или – ты уже научилась, как складывать дробь? Нами что-то движет. Но движутся больше автомобили.)

И не думай даже листать Мандельштама, но и позабудь, коль и знала, и несколько строф Руставели. Если куришь «Опал», то зачем тебе запах хвои? Что ты думаешь, глядя зимой на карельские ели?

И встречаясь с троими, останься стыдливой, чтобы даже и у меня холодило порой мошонку. Заведи себе пять подруг, пусть не первой пробы, но чтоб было кому кивнуть и махнуть вдогонку.

Верно, лучше стареть в Петербурге, где в небе ключья – как протечка сверху, и, размокнув, ползут обои, – чем в долине вблизи Кутаиси, где полночь волчья. Впрочем, раз уж земля кругла, то и Бог с тобою,

где бы ты ни жила. Я, к примеру, уехал в Штаты, поселился в просторном доме. И, выпив виски, захмелев, бормочу что-то вовсе не по-английски, – например «сохрани мою речь». Здесь конец цитаты.

ПОЗНАНИЕ (в память о беседах с Л. А. Халфиньим, замечательным специалистом по квантовой физике и глубоко чувствовавшим человеком)

Я ищу безусловности...

Йозеф Кнехт

Опять любовь, истерзанная лира?
Грядёт война, иль просто ночь длинна?
Что уцелеет – контуры Памира?
Но точно уж не наши имена.

Увы, едва ль всё повторится снова.
И, падкий на рекламу и дизайн,
я словно не касался до покрова
жестоких тайн:

скребя эмаль, не тронул сути мира.
Мы – сборщики примет. И в свой черёд
и я забрёл в пустующей квартиры
забитый хламом чёрный ход.

И всё же – жрец: обманутого духа,
нелепой матерьяльности идей.
И бьётся дух отчаянно и глухо
в необоримой плотскости своей.

– Горчат ли вина чувственного пира?
– О, Крымской ночи пряная волна! –
– *Фонтан в саду?*.. Унылый лик сатира?.. –
– Эйнштейн и Бор – вот два ориентира?! –

...Но моего языческого мира
кончается весна.

Всё разрешится плеском половодья
чужой весны в иной неверный год:
пустых страстей мучительные гроздьи,
жестоких тайн бессмысленный исход.

ТОМОГРАФ

Памяти О. И.

Засунуть бы голову, что ли, в томограф. Взглянуть,
как будто качнувшись над пропастью, вниз, холодея, –
на эту бугристую слизь и невнятную муть.
Ты только не спрашивай, где я.

Обидно в преддверье столетья чудес умереть.
Я слеплен из опыта древних существ и глагола
воздействием тестостерона. И, может, на треть, –
семья удружила и школа.

Добавить бы что-то о жизни – (как пахнет мазут! –
в саду на скамье чешуя и арбузные корки) –
но помню лишь я, как о чем-то негромко поют,
и привкус махорочный горький.

СТАНСЫ

Ну что за чушь, какой ещё Гомер?
Браниться брось, живи несуетливо.
Сглотни слюну, допей неспешно пиво
и баночку расплющи. Например:

какой дизайн! и главное, тираж!
Людским сознанием правят архаизмы.
Хоть кажется, куда ни оглянись мы,
какой-то крейсер целит в Эрмитаж.

Ну что тебе до греческих богов?
Стыдней не знать законов квантованья.
Хоть разум, обгоняющий сознание
на сотни лет, – тут «холодеет кровь».

Германский стиль, гимназия, латынь.
Пять рас ещё. Мне кажется, саркома.
Когда душа волнением влекома,
протри хрусталь. Иль мебель передвинь.

Мне студит лоб бетонная стена.
За ней то ль ругань, то ли крик оргазма.
Мне снится звёзд плотнее ртути плазма,
какой морали требует она?

АЭРОПОРТ

Передай генотип и умри.
Вот и всё. Только это...

Юрий Колкер

Помнишь Люську? (Я пью с утра, вот и чушь несу.)
Как-то раз пацаны подловили её в лесу
и держали так, что и дёрнуться не могла.
Пахло ветром и вереском, пела, грудьясь, пчела.

Было коже до дрожи странно касанье мха,
и гортань была совершенно нема, суха.
И сначала один лишь слегка ей сжимал сосок,
сам от страха взопрел и, бедняга, дышать не мог,

но затем ей раздвинули ноги – да так, что ох!–
во всю ширь развели, ну и как тут удержишь вздох.
Сердце билось внизу живота и горела грудь.
Ну а дальше ты сам уж додумаешь что-нибудь...

Ты прости, мой дружок, я дразнюсь. Понимаешь ли...
Ты же знаешь, зачем мы с тобой в этот мир пришли.
Был я робким очкариком, верным своей жене,
но потом возмужал и теперь уже даже не

считаю, во сколько же влажных и жарких лон
своё впрыскивал семя. Как страшен и как смешон
этот сон: протоплазмой запачканный шар... Не ной!
Ты почти настоящий, вот только что заводной.

Что ж сказать мне о жизни? Возня, мой малыш, возня.
Не Париж же мне снится, огнями меня маня?
Вот кому-то, к примеру, достался удел врача,
и живет, молоточком в коленки стуча, стуча.

Слышал я: кто-то скачет и мчится сквозь хлад в ночи.
Кто-то бьётся в постели: «Забудься, шепчи, кричи».
Вроде начали в Чили добычу цветной руды?
Наплевать, замочили ли мэра Караганды?

Я сижу с недосыпа весь белый, как писсуар.
Жду, когда ж мой объявят рейс, пью Pinot Noir.
Может, мой самолёт разобьётся. Скорее – нет.
Если Люську вдруг встретишь, ты ей передай привет.

Самолётик мой будет на взлёте качаться над
ржавым полем с узором запутанных автострад.
Мой игрушечный дом под крылом проплывёт, дрожа.
И мучительной нежностью будет полна душа.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕРНОВИК	Дар	9
	«Взъерошен вихор. – Обманщик, позёр...»	10
	Школьному другу, из Сизтла в Египет	11
	«Так страшен летний день...»	12
	Три строки о любви	13
	Последний трамвай	14
	Paris	15
	Olympic Peninsula	16
	Сон	17
	Слушая лекцию Машевского о Пушкине	18
	Оттепель	19
	Мораль	20
	Пурину, по электронной почте, ноябрь 2001	21
	Стансы прекрасной даме	22
	Летний сад	23
	Рождество 2001	24
	Strasbourg	26
Черновик	27	
НОСТАЛЬГИИ	Стансы одиночества	31
	Стихи для Ильи	32
	Стансы смерти	34
	Сын	35
	«На краешке дивана, перестав...»	36
	Ночь с Клеопатрой	37
	Венские стихи	38
	Чужие слова	40
	Тень	41
	Гладиаторы	42
	«Как нестерпимо жить всерьёз!..»	43
	St. Petersburg	44
	Boeing над Ладогой	45
The Art Institute of Chicago	46	
«С похмелья впотьмах не нащупать очки...»	47	
«Что поделать, дружок...»	48	
Nostalgia	50	
АЭРОПОРТ	Герой моего времени	55
	Речь	58
	Познание	59
	Томограф	60
	Стансы	61
Аэропорт	62	

Трудно ли, легко ли был написать стихотворения, вошедшие в эту книгу, но сочинились они как-то, – и ладно. А вот название для книги придумать – это, действительно, беда. Просто «Стихотворения» – неплохо отражает содержание, но многих ли побудит перевернуть первую страницу? «Аэропорт» – по названию самого важного стихотворения – увы, уже запатентовано Хейли. «Герой моего времени» – всё бы ничего, но тоже мучительно напоминает что-то, сочинённое еще чуть ли не в XIX веке. В общем, куда ни кинь... И тогда мой брат Андрей, который, собственно, и создал эту книгу (то есть сверстал ее, превратив свалку из строф, слов и буковок в предмет, который можно подержать в руках), предложил простой рецепт: внимательно перечти и используй любое понравившееся словосочетание. Легче сказать, чем сделать: «Мой игрушечный дом» – отлично! – но сначала надо прочитать «Аэропорт». Да и, не дай Бог, ещё купит какая бабушка книжечку для внучат дошкольного возраста, ой-ёй-ёй. «Ночь с Клеопатрой» – очень по делу, этокое чайльд-гарольдовское восприятие исполнения желаний («страшась и скучая», ни больше ни меньше!) – но слишком претенциозно. «Такие странности любви» – замечательное название, но не современно... или слишком уж современно? Да и подходит скорее для водевиля, или, скажем, альбома Шаова, что ли? А на фоне трёх шариков на обложке – так просто обхохочешься... «Хочешь – смейся, а лучше – вой!» – совсем ничего не понятно, да? Еще обнаружился «словесный гербарий» – вот это уже действительно Название, причем подходящее к любой книге! Да! Но... Я это название ещё как-нибудь обязательно использую, так что попрошу не брать займы, ладно?

И решил я довести метод, предложенный Андреем, до научного уровня, и отыскал осмысленное словосочетание, встречающееся несколько раз. (Знаю, что жульничество! – но с научными подходами это-то как раз – дело обычное.) А с другой стороны, и вполне в тему получилось: «Чужое столетие». А что чуть мрачновато и чуть однобоко, так зато как замечательно гармонирует с репродукцией Магритта на обложке! – (да-да, с теми самыми тремя шарами над долом, которые не дают уснуть бедному Петрову). Такие дела.

О себе же спешу доложить: родился я в Ленинграде в 1964 г. С 1994 г. (по крайней мере считается, что) проживаю в США. Основное место работы – университет штата Пенсильвания, где я служу профессором математики (E-mail: burago@math.psu.edu). Приведённые в книге стихотворения написаны в 1996-2002 годах в США, России, Великобритании, Франции, Австрии и Бельгии.